

ЕВРОПЕЙСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

**ПОСТСОВЕТСКАЯ
ПУБЛИЧНОСТЬ: БЕЛАРУСЬ,
УКРАИНА**

Сборник научных трудов



ВИЛЬНЮС
ЕГУ
2008

УДК 316.3(476+477)
ББК 60.56(4Бен+4Укр)
Пб3

Рецензенты:

Донскис Л., профессор, директор Института политических наук и дипломатии,
Университет имени Витовта Великого, Каунас, Литва;
Ковальска М., профессор заведующая кафедрой философии,
Университет Белостока, Польша

Пб3 **Постсоветская публичность: Беларусь, Украина.** Сборник научных трудов под редакцией М. Соколовой, В. Фурса. – Вильнюс : ЕГУ, 2008. – 224 с.

ISBN 978-9955-773-14-6.

Сборник научных работ белорусских и украинских авторов представляет собой результат выполнения международного исследовательского проекта. В книге рассматриваются различные аспекты публичности в постсоветских контекстах: публичная сфера в структуре и динамике постсоветских обществ, публичность и политика, медиатизация публичной сферы (масс-медиа, WWW), политические импликации художественной публичности и др.

Книга рассчитана на специалистов – философов, политологов, социологов – и широкую публику, интересующуюся проблемами постсоциалистического развития.

УДК 316.3(476+477)
ББК 60.56(4Бен+4Укр)

Издание осуществлено в рамках проекта
«Социальные трансформации в Пограничье – Беларусь, Украина, Молдова»
при поддержке Корпорации Карнеги (Нью-Йорк)

ISBN 978-9955-773-14-6

© Европейский гуманитарный университет, 2008

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир Фурс Введение: Трансформации публичности и постсоветская ситуация.....	5
РАЗДЕЛ 1. ПУБЛИЧНАЯ СФЕРА: ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА	
Анатолий Ермоленко Публичный дискурс как фактор социальной интеграции в современном обществе.....	25
Сергей Пролеев, Виктория Шамрай Феномен кланово-корпоративного общества.....	41
Виктор Степаненко Политическая публичность в трансформации: дискурсы, символизации и практики в Украине в 2000-х гг.....	56
Роман Кобец «Интимизация публичности» – постсоветский путь «расколдовывания» политики в Украине.....	76
РАЗДЕЛ 2. АСПЕКТЫ МЕДИАТИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОСТИ	
Марина Соколова www как политическая публичная сфера.....	92
Вероника Фурс Публичное и приватное в белорусском социально-политическом медиа-дискурсе.....	119
Виктор Мартинович Роль независимых масс-медиа в конструировании альтернативной публичности в Беларуси.....	140
Ольга Шпарага Демократический потенциал культурных практик в условиях авторитаризма: случай Беларуси.....	158
Анатолий Паньковский Канва (белорусской) экспертизы.....	187
Сведения об авторах.....	215

CONTENT

Vladimir Fours Introduction: Transformations of the Public Sphere and the Post-Soviet Situation.....	5
PART 1. PUBLIC SPHERE: SOCIETY AND POLITICS	
Anatoly Ermolenko Public Discourse as a Factor of Social Integration in Contemporary Society.....	25
Sergey Proleyev, Victoria Shamrai A Phenomenon of Clan-Corporate Society.....	41
Victor Stepanenko Political Public Sphere in Transformation: Discourses, Symbolizations and Practices in Ukraine at 2000's.....	56
Roman Kobets «Intimitization of Publicness» – a Post-Soviet Way of Disenchantment of Politics in Ukraine.....	76
PART 2. ASPECTS OF MEDIATIZATION OF PUBLICNESS	
Marina Sokolova www as a Political Public Sphere.....	92
Veronika Furs Public and Private in the Belarusian Social-Political Media-Discourse.....	119
Victor Martinovich Role of Independent Media in Constructing Alternative Publicness in Belarus.....	140
Olga Shparaga Democratic Potential of Cultural Practices Under the Conditions of Authoritarianism: the Case of Belarus.....	158
Anatoly Pankovski The Line of (Belarusian) Expertizing.....	187
Authors and Summaries.....	218

ВВЕДЕНИЕ: ТРАНСФОРМАЦИИ ПУБЛИЧНОСТИ И ПОСТСОВЕТСКАЯ СИТУАЦИЯ

Данная книга является итогом белорусско-украинского исследовательского проекта, осуществлявшегося в 2006–2007 гг. при поддержке Центра перспективных исследований и образования ЕГУ. Замысел проекта состоял в том, чтобы использовать концепцию публичности как средство изучения своеобразия постсоциалистического развития в двух восточноевропейских странах. В Минске и Киеве параллельно работали исследовательские семинары; доклады, представленные на них, легли в основу соответствующих разделов данной книги. В этой вводной статье я постараюсь кратко разяснить современное содержание понятия публичности и продуктивность его применения к реалиям постсоветского состояния.

Анализ и обсуждение наличного состояния и проблем развития публичности в обществе должны опираться на ясное определение предмета рассмотрения, которое, однако, уже само по себе оказывается весьма непростой задачей, сложность которой проистекает, прежде всего, из неустранимой многозначности термина «публичное». То, что относится к «публичному», обычно определяется реляционно, через соотношение с «приватным»; в обыденном словоупотреблении типичны, в частности, такие – перекрывающиеся, но не сводимые друг к другу – варианты данной семантической оппозиции, как: «общее/частное», «безличное / личностно окрашенное», «государственное/негосударственное», «медиадизированное (представленное в электронных или печатных медиа) / испытываемое непосредственно», «находящееся в поле зрения посторонних / скрытое от них (домашнее, интимное, относящееся к внутреннему миру индивида)», «открытое для всех желающих / характеризующееся ограниченным доступом». «Приватное» и «публичное» часто ассоциируются с разграниченными зонами

социального взаимодействия: например, домом и офисом (улицей, кафе и другими «общественными местами»), а в доме – спальней и гостиной; пересечение пространственной границы между этими зонами предполагает трансформацию поведения. Впрочем, на деле подобное пространственное разграничение оказывается довольно условным: вполне возможны политические дискуссии на кухне, интимные отношения на рабочем месте, частная беседа в зале заседаний парламента и т.п.; таким образом, термины «публичное» и «приватное» относятся скорее к различным практикам и отношениям, чем к различным «местам». Тем не менее опора на пространственную метафорику внушает представление о различных и относительно обособленных областях социальной жизни в рамках общества в целом («публичный сектор / частный сектор», «публичная сфера / сфера частной жизни»); однако, принимая такое представление, мы сталкиваемся с крайней неоднозначностью соотношения оппозиции «публичное/приватное» с другими принятыми классификациями: «экономическое/политическое/культурное», «макросоциальное/микросоциальное» и т.п., так что вопрос о «социетальном смысле» категории публичного в абстрактной постановке выглядит неразрешимым.

Снизить степень неопределенности в предмете рассмотрения позволяет опора на историю «проблематизации» публичности в модерной социально-политической мысли. Характерной чертой этих «проблематизаций» было то, что публичность в них понималась одновременно и как слагаемое фактического устройства обществ современного типа, и как нормативный принцип, надлежащая реализация которого еще отсутствует в наличных формах социально-политической жизни. Оговоримся: развернутая и обстоятельная историко-теоретическая реконструкция невозможна и неуместна в рамках данной статьи; мы лишь пунктирно наметим основные вехи осмысления публичности как общественной проблемы.

Принципиально новым моментом, характеризующим современное понимание, явилось, прежде всего, изменение ценностной нагрузки категории приватного. Если, к примеру, в древнегреческом мире свободная, достойная человека деятельность ассоциировалась с публичной жизнью гражданской общины-полиса, тогда как частная область домохозяйства-ойкоса связывалась с задачами необходимого жизнеобеспечения, то в современную эпоху область приватного понимается уже не как нечто второстепенное и недостаточное. Она предстает как первичная локализация человеческого достоинства, связанного со способностью индивида самостоятельно строить свою жизнь, руководствуясь собственной совестью и разумением, с его свободой распоряжаться своим имуществом и управляться со своими делами, с обладанием неповторимым внутренним миром. В либеральной традиции, начиная, по крайней мере, с Джона Локка, фундаментальные права людей связываются именно с их дополитическим статусом частных лиц – это притязания, которые вправе выдвигать все люди на основе

своей приватной человеческой природы. Свобода в либеральной перспективе трактуется, прежде всего, как защищенность частной жизни граждан от патерналистских посягательств со стороны государства, в частности, в мировоззренческом и экономическом планах.

В рамках либеральной традиции Иммануилом Кантом открывается новое измерение «публичности», которое отлично от сферы публичной власти, ассоциируемой с государством. Определяя Просвещение как «выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине»¹, т.е. из состояния, в котором он не способен пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого не из-за нехватки рассудка, а по причине недостатка решимости и мужества, Кант отмечает, что индивидуальный выход из него маловероятен: уж очень удобно жить под чужим руководством. Но вполне возможно, «и даже почти неизбежно», что публика постепенно сама себя просветит, для этого потребна лишь свобода «публичного использования собственного разума». Под последним Кант понимает такое применение разума, «которое осуществляется кем-то как ученым, перед всей читающей публикой. Частным применением разума я называю такое, которое осуществляется человеком на доверенном ему гражданском посту или службе»². Такое словоупотребление кажется странным: ведь вроде бы именно «государственный человек» – это публичная фигура, действующая на виду и работающая на общее благо, тогда как ученый говорит лишь от своего собственного имени, как частное лицо. Но для Канта главным моментом является то, что «официальное лицо» вписано в государственный механизм «искусственного единодушия», и то, что оно думает по поводу исполняемых предписаний, остается его частным делом: «Здесь, конечно, не дозволено рассуждать, здесь следует повиноваться»³. Ученый же через свои произведения обращается к универсальной публике. «Как ученый» может выступать любой самосознательный гражданин и тот же чиновник, коль скоро они руководствуются не одним лишь частным интересом и не государственным целедостижением, а: 1) с опорой на собственное разумение свободно высказываются по поводу общезначимых проблем, 2) обращаются при этом к «публике всего мира» и 3) тем самым способствуют разумному переосмыслению общественных порядков. Посредством революции, полагает Кант, можно свергнуть личный деспотизм, тогда как совершеннолетие человечества достижимо лишь на долгом пути публичного использования разума и, тем самым, самопросвещения публики.

Однако «индивидуалистская» перспектива либеральной мысли затрудняет осмысление специфической связующей и порождающей силы публичного, образцово акцентированной – в «республиканской» перспективе – Ханной Арентс. В ее трактовке слово «публичный» означает, во-первых, «что все являющееся перед всеобщностью для всякого видно и гласно, так что его сопровождает максимальная открытость»⁴. Публичная явленность «означает внутри

человеческого мира принадлежность к действительности. <...> Предстояние других, которые видят, что мы видим, и слышат, что мы слышим, удостоверяет нам реальность мира и нас самих...»⁵ Наше чувство реальности всецело зависит от того, что имеет место открытое публичное пространство, в котором может выступить содержание приватно переживаемого нами. «Понятие публичного означает, во-вторых, самый мир, насколько он у нас общий и как таковой отличается от всего, что нам приватно принадлежит, т.е. от сферы, которую мы называем нашей частной собственностью»⁶. Не тождественный природе, этот мир представляет собой создание человеческих рук и собирательное понятие для всего, что разыгрывается между людьми; как общее место жительства людей он их одновременно связывает и различает. «...Действительность публичного пространства возникает из одновременного присутствия бесчисленных аспектов и перспектив, в которых предстает общее и для которых никогда не может существовать усредненного масштаба или общего знаменателя. <...> Увиденность и услышанность другими получает свою значимость от того факта, что каждый смотрит и слушает с какой-то другой позиции. Это как раз и есть смысл публичного существования...»⁷ Общность публичного мира обеспечивается не единством человеческой природы (напротив, Арндт подчеркивает фундаментальную множественность человеческого существования), а тем, что, несмотря на неустранимые различия позиций, все тем не менее заняты общим делом. При исчезновении этого общего дела публичный мир распадается на осколки: нивелируется множественность, каждый замыкается в своей приватности.

Итак, следуя Арндт, мы можем сказать, что публичность объединяет отдельных людей общим словом и делом, создает и поддерживает их общий мир, благодаря которому и в котором только и определяется, что есть действительность, что она собой представляет. Такая трактовка намечает интересный и многообещающий ракурс анализа, однако ее непосредственное применение для изучения публичной сферы того или иного современного общества затруднительно: в мысли Арндт «публичное» и «приватное» предстают скорее как абстрактные экзистенциальные характеристики «человеческого удела»⁸; отсылка к идеализированному греческому полису скорее запутывает, чем проясняет социально-историческую определенность этих категорий.

Необходимо «социологизировать» феномен публичности, определить его специфическое «место» в сложно организованных современных обществах. В этой связи целесообразна отсылка к книге Юргена Хабермаса «Структурная трансформация публичности» (1962): Хабермас предпринял историко-социологическое рассмотрение публичности как специфической категории буржуазного общества, выводя «идеальный тип буржуазной публичной сферы из исторического контекста британского, французского и немецкого развития в восемнадцатом – начале девятнадцатого столетия»⁹. Современное понимание публичности, подчеркивает Хабермас, опирается на существенное разграничение общества

и государства, предполагающее возможность конфликтных отношений между ними. С одной стороны, публичная власть консолидировалась в особое общенациональное образование, отличное от «репрезентативной публичности» местных правителей и сословий и бюрократически отстоящее от обычных граждан; в узком и тривиальном смысле слова «публичное» означает здесь «относящееся к государству». С другой стороны, во-первых, капиталистическая рыночная экономика формирует гражданское общество, предполагающее автономию частных собственников и обладающее самостоятельной динамикой; во-вторых, реорганизация семьи привела к утверждению самостоятельной позитивной значимости интимных отношений и повседневной жизни. Частная сфера, связанная с экономической деятельностью и семейными отношениями людей, понимается как область свободы, которую следует защищать от возможных посягательств со стороны государства.

И «между» областями частной жизни (семьи и хозяйственной деятельности) и «официальной» публичностью государства формируется специфическое коммуникативное пространство – буржуазная публичная сфера («*buergerliche*» – «буржуазная» – может означать также «гражданская»); это общественная локализация неофициальной публичности частных лиц, объединенных дискуссиями по общезначимым вопросам. Способом социального взаимодействия здесь было совместное обсуждение, сосредоточенное во множестве «локусов» – в салонах, клубах, кофейнях и т.п., – но благодаря печатным медиа (книгам, газетам, журналам) выходящее за локальные рамки и получающее общенациональный и международный масштаб.

(Неофициальная) публичная сфера общества образовывалась сплетением множества частичных публик; Хабермас акцентирует интересные эволюционные отношения между «литературной» и «политической» публичностью: отнюдь не все публикации были «политически озабоченными»; многие представляли собой опосредованные чтением литературы дискурсивные взаимодействия между индивидами, заинтересованными в самопонимании и сопереживании. Эта «литературная» публичность прямо способствовала оформлению современного понимания культуры как автономной области, а косвенно формировала институциональные предпосылки (места встреч и дискуссий, журналы, сети социальных отношений) развития политической публичности, заявлявшей себя в качестве дискуссионного партнера и зачастую оппонента публичной власти (государства).

Отметим – вслед за Хабермасом – несколько важных особенностей коммуникации в этой буржуазной/гражданской публичной сфере.

Во-первых, само понятие публики означает наличие надындивидуальной общности; публичный дискурс ориентирован на интересубъективные предметы и ценности, он разворачивается не как согласование частных интересов (по образцу переговоров), а как увлеченный поиск истины по общезначимым вопросам.

Во-вторых, хотя коммуникация и не была общением равных, различия социального статуса участников в значительной степени «выносились за скобки» в публичном дискурсе; главным оружием в дискурсивном противоборстве были знания и рациональная аргументация.

В-третьих, в публичных дискуссиях проблематизировались области, прежде безоговорочно контролировавшиеся церковью и государством и не ставившиеся под вопрос; в отношении этих областей формировалось «просвещенное» (опосредованное рациональными дискуссиями) общественное мнение, отличное как от традиционных (унаследованных, некритически принятых) убеждений, так и от частных точек зрения; тем самым намечались перспективы политического действия, корректирующего наличный порядок на рациональных основаниях.

В-четвертых, хотя публики всегда конечны и ограничены, сам характер публичного дискурса делает любую частичную публику в принципе инклюзивной и открытой для неограниченного расширения: любой образованный и заинтересованный человек вправе претендовать на участие в обсуждении.

Если использовать Хабермасову реконструкцию «буржуазной» публичной сферы в качестве отправного пункта историко-социологически конкретизированного осмысления феномена публичности, то дальнейшее продвижение требует более корректного помещения феномена публичности в социально-исторический контекст (преодолевающего неправомерные идеализации образа, предложенного Хабермасом¹⁰) и учета реалий современной социальной жизни.

Образ частного лица – участника рационального публичного дискурса строился у Хабермаса по образцу обладающего собственностью мужчины белой расы; обусловленная этим ограниченность в трактовке публичности состояла, прежде всего, в недооценке внутренней разнородности и иерархической организации публичной сферы. Как отмечала Нэнси Фрэйзер, альтернативная историография публичной сферы XVIII–XIX вв.¹¹ продемонстрировала, что Хабермас и идеализировал буржуазную публичность, и проигнорировал альтернативные версии – рабочую, националистическую, женскую, крестьянскую, – конфликтно взаимодействующие с господствующей в обществе буржуазной¹². С учетом этого обстоятельства публичную сферу общества следует представлять как охватывающую многообразие неравновесомых и неравноправных публик; и, само собой разумеется, этот тезис верен применительно не только к XIX в., но и тем более к современным («мультикультурным») обществам. При этом господствующая публика (внутреннее разнообразие которой также не следует игнорировать) посредством практик маргинализации и исключения альтернатив стремится монопольно представлять публичность как таковую. Важно, что неравноправие публик обеспечивается не только (а может быть, и не столько) формально-правовым регулированием: существенную роль здесь играют ме-

ханизмы господства, работающие «внутри» и посредством самого публичного дискурса: через определение круга «вменяемых» участников, релевантных тем для обсуждения, базовых «очевидностей», на которых в конечном счете основываются аргументы и т.п.

Вытесняемые из доминирующей публичности группы образуют собственные площадки публичного дискурса; для их обозначения Нэнси Фрэйзер предложила термин «низшие (подчиненные) контрпублики» (*subaltern counterpublics*), указывающий на то, «что они представляют собой альтернативные дискурсивные арены, где члены подвластных социальных групп создают и распространяют альтернативные дискурсы, для того чтобы сформулировать оппозиционные интерпретации своих идентичностей, интересов и потребностей»¹³. Подчиненные контрпублики вырабатывают альтернативные идиомы публичного дискурса и стили политического поведения; Фрэйзер отмечает, что они сами по себе вовсе не обязательно демократически ориентированы, «и, тем не менее, поскольку эти контрпублики возникают в ответ на практики исключения в рамках господствующей публики, они способствуют расширению дискурсивного пространства»¹⁴.

Впрочем, внутренние напряжения в публичной сфере общества, связанные с отношениями между преобладающей публикой и контрпубликами, могут быть довольно «мягкими» и не иметь непосредственного политического смысла. Как отмечает Майкл Уорнер, многие контрпублики вовсе не обязательно состоят из «низших», т.е. социально – расово, экономически, политически, культурно – обделенных людей (именно таковы, например, художественные контр-публики). Они объединяют своих участников по признаку некоторого отличия от «обычных людей» (образующих «большую», преобладающую публику), обычно связаны с соответствующей субкультурой и поддерживают сознание своей «особенности». Общение в рамках таких контрпублик понимается как идущее вразрез с правилами, принятыми в «большом мире», опирается на иные допущения относительно того, что может быть сказано и о чем говорить не следует¹⁵.

Далее трактовка, предложенная Хабермасом, основывалась на четком разграничении публичного и частного аспектов жизнедеятельности людей: публичная сфера – это пространство дискурсивного взаимодействия, в котором «частные лица» обсуждают «общие дела». Вопрос, однако, состоит в том, что и почему относится к «частному», а что к «общему»: (пост)феминистская критика и гендерная теория продемонстрировали, что нет никакой «естественно данной» границы, разделяющей приватное и публичное. Только благодаря феминистскому давлению вопрос о домашнем насилии был признан не «внутренним делом» семьи, а системной характеристикой общества, основанного на господстве мужчин, и перешел, таким образом, в рубрику «публичного»; таким образом, «то, что считается предметом публичной заботы, решается именно посредством

дискурсивного соперничества»¹⁶. Вытеснение гендерных проблем в частную сферу семьи, в которой мужчина к тому же понимается как «естественным образом» главенствующий, узаконивает патриархальную организацию публичной сферы.

Итак, социально-исторически установленное разграничение публичного и приватного может политизироваться и смещаться; кроме того, индивид вовсе не вступает в публичную сферу с полностью и окончательно сформировавшейся идентичностью – последняя в значительной степени определяется его участием в публичном дискурсе, принадлежностью к конкретным (контр)публикам и т.п. Известная условность разграничения приватной и публичной жизни и их многообразная «гибридизация»¹⁷ в социальных практиках указывают на то, что публичную «сферу» общества следует понимать не как статическое пространство дискурсивного взаимодействия, а как динамическое образование (сплетение многообразных публик) с лишь относительно определенными и изменчивыми границами.

Форма общественного бытования публичности становится еще более сложной вследствие двух взаимосвязанных процессов, с начала 90-х гг. XX в. существенно реорганизующих социальный мир, – развертывания компьютерно опосредованной коммуникации и глобализации социальной жизни.

Интернет децентрализует коммуникацию (открытая сеть сетей) и «дематериализует» ее (коммуникация осуществляется в виртуальном «киберпространстве»), превращает участников коммуникации из людей, обладающих естественным телом, в субъектов-«киборгов»¹⁸ и, таким образом, требует переосмысления современного понятия публичности. Новое измерение публичной сферы общества, возникающее благодаря развитию компьютерно опосредованной коммуникации, обстоятельно рассмотрено в статье Марины Соколовой; здесь мы отметим лишь то, что заявления «киберэнтузиастов» о начале совершенно новой эпохи человеческой истории стоит воспринимать с осмотрительной сдержанностью. В частности, тезис о коренном изменении характера публичной коммуникации (на смену беседе лицом к лицу приходит циркуляция оцифрованных символов) сомнителен: современная публичность с самого начала была существенно медиатизирована (газетами, журналами, книгами), и «цифровая революция» знаменует скорее лишь очередной этап в развитии форм медиатизации публичной сферы (печатные медиа – электронные масс-медиа – компьютерные сети). Вместе с тем современные формы опосредования коммуникации убедительно демонстрируют, что публичный дискурс не может быть сведен к рациональному рассуждению: само рассуждение опирается на медиатизированные образы¹⁹ (и это ведь тоже исходная характеристика современной публичности: в клубах, кофейнях и т.п. обсуждались не столько данные индивидуального психофизического опыта, сколько газетные новости, памфлеты, журнальные и книжные публикации).

Что же касается глобализации, то здесь мы не можем углубляться в вопросы о ее сущности и социально-историческом значении – им посвящена колоссальная по объему и крайне разноголосая литература; отметим лишь, что глобализацию резонно связывать, прежде всего, с интенсивным развитием транснационального измерения социальной жизни (глобальных «потоков» денег, товаров, людей, идей и образов) и со сложным (зачастую конфликтным) взаимодействием этого измерения с территориально фиксированными формами социальной жизни (прежде всего, национальными государствами)²⁰. Учет реалий глобализации требует отказа от «контейнерного» (Ульрих Бек) понимания общества, согласно которому вся общественная жизнедеятельность вписывается в рамку территориального государства; то или иное конкретное общество представляет собой сложный ансамбль различных измерений социальной жизни: локального, национально-государственного, регионального и глобального. Более того, «система координат» глобализации подсказывает, что динамика в той или иной территориально фиксированной форме социальной жизни может и должна пониматься не столько в эндогенной, сколько в экзогенной перспективе, т.е. не столько как проявление внутренних потребностей, эволюционных тенденций, противоречий и т.п., сколько как результат местного преломления и присвоения глобальных «потоков», как местный ответ на вызовы глобализации. Это – вызванное глобализацией – изменение образа социальной жизни существенно затрагивает наше понимание публичности: публичная сфера того или иного общества (в частности, белорусского или украинского) в своем действительном бытовании не вписывается в «контейнер» национального государства, и для корректного анализа ее наличного состояния и выявления тенденций динамики требуется учет экзогенной перспективы.

Мне представляется, что внимательное изучение новых реалий социальной жизни (в частности, обозначенных выше: усиления внутренней разнородности общества, электронного опосредования публичной коммуникации и развития транснационального измерения социальной жизни) избавляет от восприятия публичности в современных обществах в перспективе деградации и упадка. Подобная перспектива (конкретизируемая как замена активной, просвещенной и критически настроенной публики потребительски ориентированной и неприхотливой «массой», как вытеснение рационального дискурса рекламным внушением и PR-технологиями, как исчезновение в современном городе традиционных публичных пространств и т.п.) опирается на ностальгический образ публичности, позаимствованный из ушедших в прошлое общественных форм. Но ведь коренные общественные изменения двудейственны: разрушая устоявшиеся формы публичной жизни, они открывают новые измерения ее развития, так что более корректно говорить не об однонаправленной деградации, а о сложной трансформации публичности в современном обществе.

Отсюда следует и необходимость пересмотра понятийного аппарата, при помощи которого мы осмысливаем общественное бытование публичности. В частности, едва ли сегодня уместен Хабермасов концепт общественного мнения просвещенной публики, формирующегося в процессе рационального обсуждения. Общественное мнение ныне понимается скорее как продукт моделирования – как политический, рыночный, медийный, социологический и т.п. артефакт, а не как автономная инстанция общественной жизни – и, очевидно, далеко не сводится к совокупности рациональных убеждений. В этой связи представляется резонным заменить ностальгическое понятие (рационального) «общественного мнения» более емким и многомерным понятием «социального воображаемого». Опираясь на известную социально-философскую традицию (от Корнелиуса Капториадиса до Чарльза Тэйлора²¹), мы можем кратко пояснить это понятие при помощи следующих характеристик: во-первых, социальное воображаемое – это не комплекс абстрактных идей, а вовлеченное практическое понимание людьми самих себя и устройства не только ближайшего социального окружения, но и их социального мира в целом. Во-вторых, социальное воображаемое, существуя, прежде всего, как неявная символическая матрица, получает и институциональное воплощение, наделяя институты их специфическим значением в данном обществе. В-третьих, социальное воображаемое является «невидимым цементом», скрепляющим крупномасштабное человеческое сообщество (и, в свою очередь, воспроизводится последним); оно представляет собой разделяемое членами данного общества понимание как наличного, так и надлежащего (правильного, должного) устройства социальных практик. В-четвертых, содержащийся в социальном воображаемом образ морального порядка общества не столько нормативно предписывает некоторые определенные направления действия, сколько намечает границы возможного (мыслимого) для социальных практик, очерчивает воображаемый горизонт возможного действия. В-пятых, социальное воображаемое всегда недоопределено и нестабильно, что оставляет место для стабилизирующей интерпретации и корректирующей переинтерпретации; в него органично встроены герменевтика и критика.

Использование данного понятия в качестве опорного не только позволяет учесть новую общественную роль медиатизированного воображения, но и обеспечивает социологическую конкретизацию арендтовской идеи публичной жизни как творческого «миросозидания»: именно социальное воображаемое, наделяющее практики и институты специфическим значением, определяет своеобразный «мир» того или иного общества. Более того, использование данного понятия в глобальной «системе координат» служит преодолению универсалистских клише понимания социально-исторической динамики и позволяет учесть многообразие «не-западных» («альтернативных») проектов общественной и культурной модернизации²².

Использование понятия социального воображаемого при анализе общественного бытования публичности предполагает учет его сложного генезиса и иерархической организации: возможности как спонтанного складывания в рутинных повседневной жизни, так и целенаправленного формирования и наличия как дорефлексивного уровня «само собой разумеющегося» («доксы»), так и уровня эксплицитно выраженных и критически проверяемых представлений. При этом следует учитывать еще и то обстоятельство, что целенаправленное формирование социального воображаемого «символическими стратегиями», надстраивающимися над «доксическим» уровнем, не сводится к рационально-критическому прояснению неявных содержаний, но включает также скрытое моделирование восприятия и оценки социального мира (отправление «символической власти», если использовать терминологию и трактовку Пьера Бурдьё).

Принимая во внимание эти соображения, я считаю разумным руководствоваться при реконструктивном анализе социального воображаемого в том или ином обществе трехуровневой схемой социальных практик²³. В соответствии с данной схемой рациональная прозрачность социального взаимодействия локализована на среднем уровне; при этом «рациональность» подразумевает, в частности: субъективную осознанность, открытость для посторонних, организующее значение правил честной игры и наличие эксплицитных процедур.

Ниже этого уровня простирается слой повседневных практик, которые направляются преимущественно дорефлексивным практическим сознанием, опирающимся на «само собой разумеющееся», неявное культурное знание, имплицитные «предрассудки» и т.п. Непререкаемость повседневной доксы генерируется и поддерживается воспроизводительными практиками: хабиитуализированные структуры социальной жизни отображаются в схемах восприятия и оценки и натурализуются ими.

Выше уровня рациональных социальных обменов расположен слой спекулятивных практик, предполагающих обладание экстраординарными ресурсами, связанными, в частности, с монопольным положением. Особенно сильные игроки ориентированы на упрочение своего исключительного положения благодаря использованию нерегулярностей и неопределенностей в социальных взаимодействиях (в современных обществах это не столько неистребимые лакуны и лазейки в правовом регулировании, сколько неоднозначность социальных значений, вызванная нарастающей сложностью социального мира). Спекулятивные практики задействуют не только материальные (экономические и политико-административные) ресурсы, но и (во все возрастающей степени) потенциал «власти номинации» – власти определять действительное значение социальных вещей посредством использования медиатизированных образов мира.

Таким образом, в соответствии с предложенной схемой рациональность и прозрачность социальных практик (и, соответственно, содержаний социаль-

ного воображаемого) ограничены как снизу (предрассудками, фоновым консенсусом, рутинной воспроизводительных практик), так и сверху (магией сверхприбылей, сговором сильных, спекулятивной игрой на неопределенностях). Подчеркнем динамические отношения, существующие между указанными уровнями социального воображаемого: между нижним и средним (здравый смысл и повседневная смекалка подсказывают обыгрывание официальных (публично признанных) социальных значений, наделяющее последние частными коннотациями, конкретной «потребительной стоимостью») и между средним и верхним (спекулятивные практики по видимости говорят на языке прозрачных социальных обменов, на деле переиначивая и выворачивая его в собственной логике, т.е. предполагают двойную игру и дополнение публичных социальных значений спекулятивной «прибавочной стоимостью»). Конкретная конфигурация отношений между тремя уровнями варьирует в том или ином обществе.

Предложенная схема, само собой разумеется, не претендует на статус всеобъемлющей теории общества, это лишь концептуальный набросок, позволяющий скорректировать понимание публичности с учетом реалий современной социальной жизни и учесть своеобразие местного контекста и, таким образом, способный послужить эффективным инструментом анализа формы и тенденций развития публичности в конкретном обществе.

Как именно это может выглядеть применительно к сегодняшней ситуации Беларуси и Украины? Прежде всего, следует оговорить сложность определения самой этой ситуации: наиболее частые варианты – «переходные общества» и «части постсоветского пространства» – представляют собой явные идеологемы: первое определение предполагает признание окончательной победы капитализма и либеральной демократии во всемирно-историческом масштабе, а второе – общность дальнейшей исторической судьбы у обломков Советского Союза. Корректное использование выражения «постсоветское общество» означает, по-видимому, лишь указание на недавнюю предысторию и специфическую «стартовую позицию» общественного развития, конкретная траектория которого определяется взаимодействием социальных процессов разной протяженности: локальных, национально-государственных, региональных и глобальных. И, как уже отмечалось, глобальная «система координат» подсказывает интерпретацию и объяснение динамики в том или ином обществе, в первую очередь, в экзогенной перспективе: как результат территориально-государственного размежевания и присвоения глобальных конъюнктур.

В этой перспективе образование закрытого и самодовлеющего социального ландшафта под названием «Республика Беларусь» предстает как местный ответ авторитарного государства на риски глобализации (т.е. как специфически белорусский вариант глобализации²⁴); национально-государственное замыкание на себя («схлопывание») социального пространства идеологически оправдывается как «собственный путь развития Республики Беларусь» и узаконивается в рамках

симуляционной, но довольно эффективной и устойчивой модели «народовластия»²⁵. Продолжая эту линию анализа, мы можем, опираясь на трехуровневую схему практик, артикулирующих социальное воображаемое, проинтерпретировать специфическую организацию белорусской публичности.

Монополистом на уровне спекулятивных социальных практик является в Беларуси авторитарное государство, обладающее практически полным контролем над политическим полем, экономикой и масс-медийной сферой. Концентрация ресурсов в руках государства такова, что оно способно в значительной степени моделировать (средний) уровень прозрачных социальных обменов, выстраивая воображаемую²⁶ сферу честных социальных отношений (весьма характерно, что специфически понимаемая честность («чэснасць») является одной из ключевых идиом официального публичного дискурса).

Эта сфера представляет собой дифференцированное и внутренне согласованное пространство республиканских добродетелей или, точнее говоря, «социальных характеров» (морально инвестированных социальных ролей²⁷): «простого человека», «патриотического предпринимателя», «самоотверженного чиновника» и, конечно же, «Президента». Основополагающее значение для существования этого пространства имеют отношения любви и заботы между «Президентом» и «простыми людьми». Своеобразие «белорусского коммунитаризма», придающее ему туземный колорит, заключается, в частности, в том, что «чэснасць» не предполагает ни морально-правового универсализма, ни незыблемости правил игры: здесь все определяется (и может сколько и как угодно переопределяться) суверенной «волей народа», единственным легитимным представителем и верховным исполнителем которой является «Президент». Симуляционная модель белорусского «народовластия» обеспечивает самоосвящение государственного авторитаризма, и публичность, формируемая как «чэснасць», является мощным моральным ресурсом этой модели.

Публичная сфера «чэснасці» формируется и поддерживается авторитарным государством главным образом посредством своих «идеологических аппаратов»²⁸ (институтов воспитания и образования, подконтрольных общественных организаций и масс-медиа, системы социальной работы и др.) с подстраховкой со стороны репрессивного аппарата. Но дело, конечно же, не сводится лишь к государственному манипулированию и моделированию «сверху»: публичная сфера «чэснасці» существенно поддерживается «снизу» – воспроизводительными экономиями повседневной жизни (нижним уровнем в предложенной трехслойной схеме практик): «фоновый консенсус» повседневной жизни включает согласие с авторитарной властью.

При этом искренняя приверженность официально признанным ценностям представляется редким крайним случаем²⁹; намного более распространенными и типичными установками представляются двойное сознание и двойная мораль публичного и частного. Поддерживая официальную публичность аффектив-

ными и моральными инвестициями в «защитный кокон» патерналистского государства, люди живут своей жизнью, «не занимаясь политикой»: пусть публично-политические значения монополизированы государством, но ведь остается достаточное пространство для индивидуальных, семейных, корпоративных и т.п. проектов «счастливой жизни». Конечно, всепроникающее государственное регулирование мешает успешной частной жизни, но оно негласно необходимо. При этом имеется в виду не только и не столько коррупция, сколько неустойчивость и конвенциональность публичных значений: ведь в них изначально нет ни универсальности, ни непреложности. Человек, в своей повседневной жизни принимающий официальные наклейки на социальных вещах за чистую монету, – это не приспособленный к жизни «социальный идиот». Действительно валидны скрытые приватные коннотации публично признанных значений, которые, сплетаясь, организуют толщу «теневой социальности». Здесь царит социальное лицедейство: не просто корыстный расчет, а инстинктивная «двойная бухгалтерия»: публичные социальные роли исполняются с эмоциональными инвестициями и, одновременно, с циничной дистанцией. Социальное лицедейство означает парадоксальное совмещение искренности и цинизма: «искренний цинизм» или «циничная искренность».

Белорусская публичная сфера «чэснасці», скрыто навязываемая авторитарным государством и молчаливо поддерживаемая воспроизводительными практиками повседневной жизни, обладает еще двумя интересными характеристиками. Первая из них состоит в том, что сфера «чэснасці» четко очерчена в пространстве: ее границы совпадают с государственными границами Республики Беларусь. Лишь в этих границах и только благодаря государственной опеке человек живет в хорошо упорядоченном и справедливом социальном мире; за пределами Беларуси царит отвратительный и пугающий хаос (кровавые этнические и религиозные конфликты, безудержная преступность, тяжелые экономические проблемы, коррупция, бесправие «простого человека», техногенные катастрофы и т.д. и т.п.). Фундаментом «чэснасці» является патриотизм, смысл которого в данном случае состоит не столько в любви к родине, сколько в «контрфактическом»³⁰ утверждении безоговорочного территориального суверенитета белорусского государства, в признании святости и неприкосновенности его «внутренних дел».

Вторая интересная характеристика состоит в специфической для Беларуси конфигурации отношений между тремя уровнями социальных практик: средний уровень прозрачных социальных обменов не только активно формируется «сверху» (уровнем спекулятивных практик государства) и «снизу» (уровнем воспроизводительных повседневных практик), но и полагается всеобъемлющим, охватывающим всю толщу социальной жизни. В Беларуси осуществляется «социетальная тотализация» сферы «чэснасці» – прозрачной, открытой, рациональной практики: коварство символических стратегий государства и социальное

лицедейство повседневной жизни скрыты, публично невидимы, отнесены к тем непристойностям, о которых в приличном обществе не говорят.

Отсюда следует, в частности, что все то, что инородно этой распространенной на всю социальную жизнь и самодостаточной сфере «чэснасці», скоррелированной с неограниченным территориальным суверенитетом белорусского государства, – все бесконтрольно приходящее извне (влияние международных организаций, транснациональные «потoki» и т.п.) и бесконтрольно образующееся внутри (гражданские инициативы, независимые масс-медиа, неправительственные организации и т.п.) – автоматически наделяется скрытым враждебным значением. Модель «чэснасці» имплицитно «вытеснение в заговор» всего того, что не вписывается в официально установленный образ публичной жизни. «Заговоры» (внешних врагов независимого белорусского государства и их внутренних агентов и пособников) – это существенный элемент официальной социальной космологии в Беларуси³¹.

Представляется, что предложенная трехуровневая модель социальных практик особенно эффективна в анализе публичности именно в постсоветских контекстах, где «средний» слой социальных практик является сравнительно слабым и поэтому легко подверженным деформирующим воздействиям «нижнего» и «верхнего» слоев; следует лишь специфицировать конфигурацию отношений трех уровней. Например, если в Беларуси мы сталкиваемся со случаем сильного авторитарного государства, то в соседней Украине – с существенно отличным случаем кланово-корпоративной демократии; соответственно, здесь по-иному организован публично признанный «фасад» социальной жизни и по-другому выстраиваются отношения между ним и «теневой социальностью», обладающей онтологическим и ценностным первенством³².

Впрочем, следует отметить, что изучение столь своеобразного и сложного явления, как постсоветская публичность, едва ли было бы эффективным в рамках одной-единственной концептуальной модели; поэтому авторы работ, включенных в настоящий сборник, предлагают и собственные концептуализации в соответствии с избранными ими аспектами тематизации феномена публичности. Различны и «дисциплинарные режимы» рассмотрения: в книге представлены социально-философские и социологические подходы, анализ в перспективе «критического анализа дискурса», экспертная и журналистская саморефлексия; известная фрагментарность книги вполне сообразна многомерности и неинтегрированному характеру постсоветской публичности.

Едва ли уместно предлагать здесь обобщающую сводку аналитических результатов, полученных авторами книги; отмечу лишь некоторые ключевые мотивы, намечающие перспективу адекватного изучения постсоветской публичности.

Во-первых, следует избегать чрезмерной теоретизации, которая бы раз и навсегда устанавливала, что такое публичность «на самом деле»; столь жестко

сконструированному теоретическому образцу едва ли вообще возможно найти эмпирическое соответствие, тем более – в очень своеобразных реалиях постсоветских обществ; имеющиеся концептуализации публичности должны выступать скорее общим ориентиром описательно-реконструктивного подхода, учитывающего своеобразное устройство публичной сферы в контексте данной конфигурации социальных практик.

Во-вторых, следует избегать и гиперполитизации феномена публичности. Действительно, неофициальная (т.е. не совпадающая с организацией публичной власти и не подвластная государству) публичная сфера может рассматриваться как воплощение общественной автономии – но в том весьма широком смысле «самозаконности» социальных практик, который выводит далеко за пределы конвенциональной «сферы политики». Наряду с «политической публичностью» может и должен существовать широкий спектр «политически беззаботных» автономных публик, намечающих многообразные возможные этик и эстетик существования и тем самым служащих ресурсом социальной креативности и культурного экспериментирования. Задача критики (государственной) власти вторична относительно задачи артикуляции образа «хорошего общества», в свете которого критика только и приобретает осмысленность. Политизированные публики лишь тогда действительно автономны, когда они открыты для восприятия всей широты публичных «голосов», спонтанно возникающих в обществе, предлагающих оригинальные определения ситуации и намечающих возможные стили жизни.

В-третьих, функционирование публичной сферы связано с наработкой особого регистра социального знания, делающего возможной общественную рефлексивность; роль интеллектуалов (социальных ученых и экспертов-аналитиков) в опосредствовании публичности связана с задачами изучения, диагностики и проектирования. В данной книге преобладают первичное картографирование и критика наличного положения дел; перспективу возможного продолжения данного проекта резонно связывать уже в первую очередь с задачей проектирования развития автономной публичности в постсоветских контекстах.

Примечания

¹ Кант, И. Ответ на вопрос: что такое Просвещение. Рецензия на книгу И. Гердера // И. Кант. Сочинения в шести томах. Т. 6. М., 1966. С. 26.

² Там же. С. 28.

³ Там же.

⁴ Арндт, Ч. *Vita activa*, или О деятельной жизни / Ч. Арндт. СПб., 2000. С. 66.

⁵ Там же.

⁶ Там же. С. 69.